

Старый художник, которого считаю своим учителем, говорил так:

– Садись перед пустым холстом и смотри на него, пока не увидишь картинку целиком – что на каком месте и где какой цвет. Потом бери кисть и раскрашивай. Оно тогда останется в твоей памяти, как на фотоплёнке.

Он давно умер. Я давно считаюсь художником. Но так и не умею видеть всё во всех подробностях. Я размечаю карандашом, потом беру... Ну, в общем, у каждого своя технология. От учителя осталась нерушимой только привычка: картины называю картинками.

Правда, сам образ такого творчества всегда при мне. Всякую новую работу начинаю с того, что долго смотрю на пустой лист, на голый холст. Только не вижу на этой белизне ни черта. Пусто и голо. Будто и рисовать не умею. Но вот рука наугад ведёт первую линию, и сразу – за карандашом – начинает проявляться картинка. Будто изображение на фотобумаге, погружённой в ванночку с проявителем. Сначала – самые яркие места, следом – детали... В общем, метода у нас с учителем оказалась врождённо разная. У него – инженерная, у меня – композиторская. Так и у моих друзей-писателей: один начинает с конца, с оглавления, потом расписывает по главам подробный план всего романа, только тогда садится этот план выполнять, а другой пишет, как я, за карандашом, даже не всегда зная конец. Только у них это называется – «за пером». И никто не решится заявить, что одна метода лучше другой. Просто разные. Как два вида фотографии – плёночная и цифровая.

Но в обоих случаях – на суд дилетанта. Который сам вообще не умеет, поэтому ходит на выставки и смотрит, как рисуют другие. И плевать ему на нашу методику. Он ставит оценки ногами. Будь ты трижды композитор или четырежды инженер, член Союза художников и даже академик, а если дилетант не задержится перед твоей картинкой – о ком тебе задуматься: о нём или о себе?

Правда, раньше я в подобные рассуждения не вдавался. Было не до них. И это было нормально: пока не скажешь человечеству всё, что в тебе для него имеется, на остальное нет досуга. Живёшь под всего одним девизом: «Идея – как хороший гость: не предложил сесть – уйдёт и больше не вернётся». Поэтому художник пишет, режет, лепит до озверения или сидит часами перед пустым холстом и думает только об этом госте, а вовсе не о почтеннейшей публике.

Однако моменты философии рано или поздно начинают наступать. И отступить перед ними нельзя. Ибо наступить они норовят на самые любимые мозоли.

Что и случилось со мной как-то раз.

Но начать надо с общего фона. Без него картинка потеряет суть.

Каждая новая власть – хоть после выборов, хоть после переворота – почти сразу обращает взор на творческих людей – на музыкантов, писателей и особенно на художников. И начинает с ними заигрывать.

Я выражаюсь, может быть, грубовато. Писатель, может быть, нашёл бы другое слово, музыкант вообще бы не удостоил, но я говорю – «заигрывать» и по-

вторюю – «особенно с художниками». Потому что музыку почтеннейшей публике ещё надо понять, а прозу или стихи – прочитать (за исключением гимнов, конечно), а картинка – она сразу говорит всё, лишь бы висела на виду. Вот Иван Грозный над убитым сыном, вот Пётр Великий на стрелецкой казни, а вот маршал Жуков на белом коне. Один взгляд – и народу ясно, какая у него власть. Поэтому она – власть – создаёт творческие союзы, а лучшим членам этих союзов даёт квартиры с дополнительной творческой комнатой или даже мастерские.

Я сказал – «лучшим», и это нескромно. Часто лучшими бывают как раз те, кто в творческих союзах не состоит. Поэтому правильнее сказать не «лучшим», а «тем, на кого власть имеет виды».

Короче говоря, новая власть переселила меня в новую мастерскую.

При старой власти мы с Коллегой теснились в двух однокомнатных квартирках, приспособленных под мастерские. Первый этаж, две угловые квартиры, в каждую – отдельный вход.

В жилой комнате я малевал свои холсты, в ванной отмывал их, хранил запасы на полках и даже принимал душ вместе с какой-нибудь натурщицей. Кухня выполняла у меня ещё роль спальни.

У Коллеги был несколько иной профиль. Для шелкографии нужно много горизонтальных поверхностей, поэтому он сломал перегородку между кухней и жильём, всюду поставил столов, ванна у него не просыхала от разной химии, и его единственная жена в мастерскую не ходила. Лишь иногда заглядывала, чтобы поколотить очередную неприхотливую его помощницу, ученицу или как там ещё.

Туалет у нас был общий, с двумя запираемыми дверями. Через него мы друг друга навещали. И его подружки, если успевали, спасались тем же способом – когда я находился у себя и не был сильно занят.

Так вот, в мою мастерскую новая власть поселила замужнюю мастерицу по берестяным сувенирам с прорезными узорами, только что принятую в Союз художников. Работа у неё мелкая, больших площадей не требующая, а для таёжной нашей области престижная. Только въехала берестяница не сразу, а целый год ждала, когда там сделают ремонт. Она мне как-то позвонила, чтобы забрал своё имущество, если какое нужно. Но я так и не собрался. Как аврально переехал в просторную мансарду под крышей новой девятиэтажки, так и думать забыл о старой мастерской. Все свои самодельные полки и шкафы оставил даме – под бересту, под изделия. Даже старые холсты со своей забракованной мазнёй оставил пачкой на полу: на первом этаже зимой холодно, батареи греют слабо, пол ледяной...

Из новой мастерской вид был за реку, птички летали вровень, облака – рядом, а уличные звуки тихо ползали где-то внизу. Совсем было комфортно, работалось вдвое, и даже власть была, в общем, довольна. Меня тогдашние общественные дела частью устраивали, частью не интересовали. Заказных портретов я никогда не писал, потому что с души воротит вся эта «кедровка» – губернатор в кругу внимающих станочников, спикер над очередным «Словом» в газету, местный олигарх за кружкой пива... А вот промышленные пейзажи всегда любил, потому что уважаю людской труд. Охотно ездил в заказные командировки – и к нефтяникам, и к трассовикам, и особенно к речникам. Там было кем любо-

ваться, потому и портреты, и даже технология на фоне тайги – всё получалось по-родственному, будто я сам – один из них и работаю по первому сорту. Тоже «кедровка», но не холуйская, от души, для народа, а не для его так называемых слуг.

В общем, три года чудной горячки – как один счастливый день.

Даже остепенился, и женился, и почти уже не ночевал в мастерской... Впрочем, тут я несколько преувеличиваю, но, честное слово, почти целомудренно.

Вот и добрался, наконец, до сути рассказа. Надеюсь, благодаря всему предыдущему он выйдет более убедительным.

Прихожу однажды в Художественный фонд. Я там бываю не часто. Кисти, краски купить, ну и тому подобное. Там же – столярка, багетная мастерская: рамы для картин заказываем редко, чаще делаем сами. Но тут взбрело именно заказать раму. И чтоб багет, как выражался мой покойный учитель, был «экселенц». Это слово у него являло высшую степень похвалы.

Захожу к столярам – и прямо напротив двери вижу на стене изумительную картинку. Такая – полтора на два метра, мой любимый размер, а главное – ну всё на своих местах! Никаких людей, чистый пейзаж. Никаких высоковольтных проводов – «Свет пришёл в тайгу», никаких «богатых уловов», никакой «первой борозды», никаких «тучных стад Сибири». Просто высокая речная волна ударила в скулу катера, брызги летят, выпел вытянулся по ветру, леера аж гудят, по вантам влага стекает, стекло рубки отбрасывает солнечный блик, и он радугой рассыпается в брызгах на фоне близкого ельника на низком песчаном ярочке, а одна ёлка уже так зависла над подмытым берегом, что вот-вот завалится в холодные чайные воды... Эх, говорил бы и говорил!.. Картинка без рамы, просто холст прихвачен гвоздями к стене, но от этого она даже как-то живее, свободы больше, словно пролом в стене столярки, и сам Худфонд плывёт по этой реке, и сейчас вот брызги долетят до моих глаз, и впору уже моргать...

Стою, не здороваюсь, всматриваюсь и чувствую, что много раз видел всё это – на Оби, на Томи, на Чае, на Кети, на Васюгане... И даже наверняка сам такое рисовал. Но вот именно ТАК – ведь не получилось ни разу! Это же и цифровой камерой не схватишь. Это как раз то, что мой учитель имел в виду: «Останется в памяти, как на фотоплёнке!» Вот что он под этим понимал: не в памяти, а в душе, в душе, вона где!..

Мужики бросили работу и смотрят на меня. Видят, что человек не в себе. Но молчат.

Я, очнувшись, начинаю понимать, что это начинает выглядеть неприлично. Нормально здороваюсь наконец и сразу спрашиваю: «Чья картинка?»

– А не знаем, – говорят. – Когда Татьяна-берестянице в мастерской делали ремонт, пришлось убирать с пола чьи-то холсты. Кто-то бросил и забыл. Они так один на одном пачкой и лежали. Ходили по ним, наверно, давно. И никто не знает, чьи.

Вот тут я свою картинку и узнал.

Рыбачил как-то на Чулыме, потом по памяти написал за день, да не понравилось, вот и бросил на пол, не первую и не последнюю.

За что же я её тогда забраковал-то?

И это тоже сразу вспомнил. Вон они, тени в лесу. Тяжёлые, неисправимо тяжёлые. Они поглощают всю эту воздушность, они не дают радуге висеть в воздухе – она кажется намалёванной на стене, на которой намалёван этот неправильный, картонный, да нет, каменный, из крашеного бетона лес. Даже странно, что сегодня я не различил это с первого взгляда. Ну, конечно, это оттого, что принял картинку за чужую. Другому я бы это запросто простил. Я к чужим работам никогда не придираюсь, потому что ищу в них удачные места, сразу похвалить хочется – ведь старался человек, чем водку трескать. Неудачных мест просто не замечаю. Так я устроен – без ревности, как без туберкулёза.

Я приблизился к столу, на котором монтировали очередную раму – казалось, точно для моей картины. Мой позорный брак висел как раз над этим местом, прихваченный к стене загнутыми гвоздями.

Я вспрыгнул на стол и начал выкручивать эти гвозди.

– Ты чего?! – Мужики слегка опешили, но было слышно желание схватить меня за ноги. – Ты зачем? Твоя, что ли?

– Моя.

А сам выкручиваю гвозди и стараюсь не наступить на раму, которую они почти закончили монтировать.

– А где ж ты, – говорят, – раньше-то был?! Она уже год, как висит.

Вот, выходит, сколько я тут не был.

Стащил холст на стол. Он пришёлся точно по раме. Мужики раму перевернули – хороший багет, «экселенц»! – накрыли ею холст и говорят:

– Смотри, как заиграла! Бери всё вместе, а мы Завьялову другую раму сделаем.

А я молча схватил со стола косяк – и давай резать свой позор на полосы! Мужики сунулись было помешать, потом сказали: «Ты что, уху ел?!» и отошли к раковине курить.

Тут распаивается дверь и входят двое – тот мой Коллега, которому я был соседом, и его новая соседка, замужняя берестянщица.

Коллега видит меня над изрезанным холстом, складывает руки за спиной, подходит, останавливается и начинает раскачиваться с пяток на носки. Берестянщица становится рядом с ним и молча замирает. Мужики от раковины говорят Коллеге:

– Видал, Борисыч?! Скажи ему, кто он после этого. Ни себе, ни людям.

Коллега перестаёт качаться и спрашивает меня:

– Что ответишь народу?

Меня уже не трясёт, а так, только слегка потряхивает. И одышка. Говорю:

– Они-то могут не знать, но ты ведь понимаешь: если я свою работу забраковал, значит, она неисправимо плоха и должна быть уничтожена. Кто я, по-твоему: тварь творящая или право имею?

Берестянщица стонет и пытается руками прикинуть, восстановима ли картинка. Куда там! А Коллега мне без запинки спокойно отвечает, будто специально готовился:

– Человечество тебя не поймёт ни с какими объяснениями. Человечеству понравилось – и всё тут, высший суд...

– Высший суд, – перебиваю, – только один! Это автор!

– Ничего подобного, коллега, – это его любимое словечко, за него и прозвище. – Абсолютно ничего подобного. Мы с тобой философию вместе сдавали, но ты её, похоже, подзабыл.

– Не знал, да ещё и подзабыл! – вставляет один из столяров. А второй тут же добавляет, будто оба готовились: – Всё на экзамене сдал, а себе ничего не оставил.

Но я их даже не замечаю. Я пытаюсь угадать, к чему клонит Коллега, однако зря стараюсь – видно, и впрямь забыл. А он продолжает, как читает:

– Забыл ты Закон отчуждения: всё, что ты создаёшь, тут же перестаёт тебе принадлежать, независимо от того, продал ты это, подарил или оставил себе. Вот если никому не понравится, тогда ещё ладно, можешь уничтожать или переклеивать. А если люди похвалили – всё! Отдай и забудь с облегчением.

Берестяница кивала, а он обнял её и сменил тему:

– Вот мы с Танюшкой – живой пример Закона отчуждения. Она со своим не ладила, я – со своей. Мы с ними разошлись, а друг с другом – сошлись. У нас теперь одна двухкомнатная мастерская. И мы в ней живём и вполне ладим, потому что больше нигде. Ты мог бы эту картинку нам на свадьбу подарить, чем резать. Она мне ещё тогда понравилась, когда ты её писал. А потом думаю: куда дел? наверно, с руками оторвали какие-нибудь речники?.. Даже в порт ходил: не висит ли там.

– Да нельзя было её вывешивать! – Я аж зарычал. – Ну брак же неисправимый, хоть всё счищай!..

– Ну и ладно! – Он, как всегда, успокоился мгновенно. – Счищать уже не придётся, вот и славно. Новую напишешь. Можем даже холст подарить, а, Таньк?

Та, конечно, кивала.

А я злился – и на него, и за что-то на Таньку, и на столяров, именуемых почему-то народом, и особенно на себя – за то, что прав, а доказать не могу, только страдательно чувствую.

Вот и вся история. Практически пустяковая.

Картин я с тех пор больше не резал. Может быть, потому что не браковал.

А вот о той единственной думаю до сих пор: если я её так и не переписал, что это означает?

05.01.08.

\* \* \*

*Томские писатели поздравляют  
Владимира Владимировича Шкаликова  
с 75-летием и желают ему крепкого здоровья  
и творческих успехов.*